

*Виктор Чигир*

## Полуденный душ

*Рассказ*

### 1

Суетливо, как подоженный, сдирая с себя одежду, он швырял ее, незримо полыхающую, за спину, на диван, и диван потихоньку занимался, потрескивая и шипя, а он, воюя с непослушной молнией на джинсах, напряженно пялился в сторону ванной.

Дверь ванной была раскрыта настежь, там горел свет, и у стиралки раздевалась она. В отличие от него, делала она это спокойно, даже как-то нехотя, с кощунственным, особенно сейчас, хладнокровием, хотя всего лишь горсть минут назад жаловалась на всю улицу на жару и о душе упоминала, как о встрече с любимым. Потная беловатая кожа ее посверкивала, вспыхивая кое-где яркими бесформенными пятнами, как бы жиденькими солнечными зайчиками, кое-где просто искрилась, и создавалось впечатление, будто там отражается что-то.

Возясь со штаниной, мертвой хваткой вцепившейся в него, он силился разглядеть ее всю, целиком, как картину, где вместо благородного багета — простая дверная коробка. Но взгляд постоянно останавливался на чем-то одном, иногда совершенно незначительном и даже неинтересном сейчас, цеплялся за это, утопал в этом, и он словно терял власть над собой: грудь, линия бедра, ухо со сросшейся мочкой, попка, родинка у лопатки, острая коленка, прядь, приставшая к потному лбу, — все существовало как бы отдельно друг от друга, и все соперничало друг с другом за его внимание; от мысли-догадки, что именно ЗА ЕГО внимание, на плечи раз за разом обрушивалась волна такой сумасшедшей детской благодарности, что дух перехватывало.

А она все раздевалась — спокойно и торжественно. Движения ее уже казались движениями восточного заклинателя: она мягко, но уверенно, со знанием, данным природой, как опасную кобру, обрабатывала его неслышной мелодией своего тела, исходившей от нее волнами, подобно жару от печи, а он молча и готовно включался в эту древнейшую игру, до конца не понимая да и не желая понимать ее негласных правил или ломать голову над ее смыслом. Начата она далеко не нами, не на нас она и закончится, а значит, и ошибок быть не может, все учтено, а что вдруг не учтено, то неизбежно учтется — и сделается таким образом обязательным элементом этой игры.

---

*Чигир Виктор Владимирович* родился в 1988 году. По профессии — живописец. Участник нескольких Форумов молодых писателей России, стран СНГ и Зарубежья. Печатался в журналах «Урал», «Октябрь», «Дарьял» и др. Автор книги «Часы затмения» (2019). Живет во Владикавказе.

Дебютировал в «Дружбе народов» первой частью романа «Утоление жажды» (2019, № 2).

Вот как он это видел. Или, вернее, так ему хотелось это видеть, и он почти убедил себя, что так оно на самом деле и есть. И он даже не ухмыльнулся и не погрозил себе мысленно пальцем, как делал всякий раз, когда на него накатывало подобного рода умствование.

Наконец он стянул с себя последнее и торопливо бросил за спину. Противу ожиданий, это не принесло и толики облегчения. Наоборот — все вдруг по-хорошему ухудшилось, ставши тягостнее, томнее, невыносимее, как сама жизнь. Он задышал глубоко и часто, точно перед дракой, и сейчас же, опомнившись, изумился самому себе, своей наивности, но почему-то не стал вдаваться в это. Он как-то сразу и навсегда уяснил, что лучше и легче — не думать вовсе. Лучше и легче отогнать все лишнее и просто смаковать каждый миг, любоваться каждой гранью, каждым переливом чувств, достававшихся сейчас практически задарма. И он безо всякого, кажется, насилия над собой отмел это все, и ему действительно сделалось как-то по-новому — не легче и не лучше, увы, но очень близко к этому, ближе, чем было секундой до.

Диван позади уже полыхал вовсю. Он ощущал жгучие языки, жадно лизавшие спину, но почти не обращал на это внимания, и если бы она только повернула голову, то увидела бы черный сухощавый силуэт, напряженно застывший перед сплошной стеной огня. Какой-то частью себя он верил в этот образ истово, как дитя, убежденное в существовании подкроватного чудища, и, наверное поэтому, некоторое время стоял дурак дураком, ожидая, когда она все же повернется и увидит все сама. «Ведь это всё ты, ты, — твердил он ей молча. — На твоей это совести, только на твоей». Но она так и не повернулась. Тогда он, легко простивши ее за это, пошел, почти побежал к ней, пружинисто отталкиваясь от пола, и ламинат липко запотрескивал под ним, предупреждая ее о его приближении.

Внизу очень мешало: все там болталось грузно, смешно и нелепо, и было даже немного больно от какой-то непривычной стыдной тесноты, словно тот, кто проектировал его тело, допустил в свое время роковую ошибку, которая обнаружила себя лишь сейчас, в самый что ни на есть неподходящий момент. Но вот он переступил порог ванной, ощутивши разгоряченными ступнями холод кафеля, и тут же, как по мановению, забыл про тесноту. Вернее, понял, как понимал это каждый раз, со всеми другими женщинами, что так оно, наверное, и задумано, что теснота необходима, что она неотъемлемая часть и без нее было бы совсем не то и не так.

Сделавши последний суматошливый шаг, он потянулся растопыренными пальцами, грудью, животом, губами, всем-всем, что у него было, — соприкоснулся с нею, и не умом даже, а как бы одной только наэлектризованной до предела плотью ощутил всю силу ее ожидания. Она тоже ждала и тоже желала. Желание это было совершенно иной природы, нежели его, — более тонкое, более неуловимое, совсем нездешнее, не земное, лунное какое-то, или даже венерианское. И чувствовалась в этом желании робенькая девчачья доверчивость, вдвойне трогательная и нелепая оттого, что на самом деле вел игру далеко не он. И не может того быть, ни в этом варианте Вселенной, ни в каком другом, чтобы она не понимала этого так же ясно, как и он.

Потом тела их вдруг пропали. Остались одни губы, которыми они долго и вдумчиво целовались, обмениваясь чем-то, что не стоит облекать ни в мысли, ни в слова. Мир, казалось, сузился в пространство, помещавшееся меж двух ладоней, и там, в самой середине, будто сдвоенное зернышко, нежились они — сначала в виде зависших в гулкой пустоте губ, а после, мало-помалу обрастая плотью, — в виде себя самих, только не прежних, а улучшенных — помолодевших, покрасивевших, забывших прошлое, не подозревающих о существовании будущего, открытых всему и вся. Ладони, прятавшие их, разрастались одновременно с ними, и находиться внутри было неизъяснимо уютно, но вместе с тем им нет-нет да становилось малость не по себе от мысли, что их запросто могут лишить всего этого. Достаточно банального стука в дверь.

Не размыкаясь, они спешно полезли в ванну. Прodelать это оказалось задачей не из простых, но они, посмеиваясь, справились. Скрежетнула пластиковыми кольцами шторка — кто-то задвинул ее, они так и не поняли, кто: то ли он, то ли она, то ли некто третий, понятливый и тактичный, оставшийся по ту сторону матовой белой ткани. Некоторое время они продолжали целоваться, ненасытно ощупывая друг друга, где только руки дотянутся. Потом она не без усилия отстранилась. Он не понял — зачем, и даже вознамерился было спросить: в чем дело? Но она уже отвернулась, пустила воду из крана и стала колдовать над нею, добываясь нужной температуры. Он тем временем держал ее обеими руками за талию, чувствуя, как теснота внизу обостряется до такой степени, что все там начинает вибрировать от чудовищного напряжения. Это было и приятно и неприятно одновременно и требовало немедленных действий. Ему вдруг открылась какая-то великая тайна мироздания, но, одержимый совершенно иным, он посчитал ее пустяком и благополучно забыл.

Тут из лейки, закрепленной на стене, полилось. Вокруг напористо зашипело и точно подернулось ломким прозрачным бисером. Жар сгинул, пришла долгожданная прохлада. Оба в голос вздохнули, после чего ее лицо, полускрытое падающими струями, снова оказалось перед его лицом, и ему снова пришлось целоваться, ощущая своей грудью ее грудь, а животом — ее живот. Руки снова заощупывали все, до чего могли дотянуться, а внизу, где вибрировало, все вдруг само собой устроилось, и напряжение, мгновение назад изводившее его, принялось каким-то непонятным образом переходить из его плоти в ее плоть. Они охотно, как честные поделщики, распределяли все поровну и оба оставались довольными.

— Хочешь тут? — спросила она, едва оторвав от него губы.

— Хочу, — отозвался он.

Они распаленно завопились, пытаясь сделать так, чтобы удобство настигло обоим. В конце концов он притиснул ее, поддерживая за попку, к стене. Она в свою очередь прижалась щекой к его щеке, задышала прерывисто в самое ухо и все сдавливала и сдавливала его: сверху — руками, снизу — бедрами. Это так и подстегивало... Но как бы замечательно все ни выглядело, ничего, кроме бессмысленной возни, у него не выходило. Струи, падавшие сверху, были теперь на чьей-то другой стороне, не его. Прохлада прохладой, а от воды она стала чересчур скользкой, и он всерьез опасался, что она выскочит белым обмылком у него из ладоней и досадно, с последствиями, ушибется. А еще днище ванны оказалось слишком узким — совершенно некуда было по-человечески упереться, и держать ее в таком положении с каждой секундой делалось все неудобней. Потому он лишь топтался у порожка, не в силах продвинуться дальше, и материл себя почему зря. Тут вдобавок ко всему из глубин памяти всплыло хармсовское: «Что за ч-ч-чёрт!» — и он едва не расхохотался, еле сдержал себя.

Это мигом изменило все. Не оставляя попыток миновать треклятый порожек, он уже смотрел на ситуацию под совершенно иным углом — с легким, родом из одесских анекдотов, юморком. И он отнюдь не заговаривал себя таким замысловатым душеспасительным образом. Все у него там, внизу, было будь здоров, грех жаловаться. Просто именно вот так — не получалось. Оттого и сокрушаться было как-то не к лицу. Все возместится, обещал он себе. Рано или поздно — непременно.

— Ладно, — сказала она, будто сжалась. — Давай на диване продолжим. А сейчас — просто помоемся. Умгу?

Он кивнул и отпустил ее. Можно было, конечно, предложить еще как-нибудь, и все бы обязательно удалось. Но он не захотел брать на себя роль просящего или, того хуже, доказывающего что-то. Нет, уж лучше и впрямь на диване. Чистыми на чистом. И чтоб сквознячок из лоджии.

Она повернулась к нему спиной и, пошарив на полке, стала мылить мочалку. Он поглядел на это через ее плечо, после чего шепотом развернул лицом к себе и все забрал. Она не возражала, ей вроде даже стало любопытно, что он задумал. А он

всего-навсего принялся намыливать мочалку сам. Выходило так старательно, что ей, наверное, показалось, будто он собирается высечь огонь. И точно: она вдруг смешливо фыркнула, а он, как бы не услышав, все намыливал и намыливал, и весело ему ни капельки не было. Все одесское куда-то подевалось. И из Хармса ничего не всплывало.

В какой-то момент он поднял лицо и увидел, что глядит она не на его руки, как ожидалось, а ниже, туда, где все до сих пор пребывало в относительно боевом положении, на полувзводе, так сказать. Почувствовав его взгляд, она сейчас же перестала туда смотреть — покосилась сначала влево, потом подняла глаза до его груди, потом, помешкав, чуть выше, задержалась где-то в области губ, а поймав глазами его глаза, спросила с улыбкой:

— Ты вообще сможешь?

— Что? — не понял он.

— Помыться.

— Я как бы тебя собрался...

— А... — Кажется, ему удалось удивить ее; впрочем, длилось это какое-то мгновение. — Ну и? Сможешь?

Он двинул плечом.

— А что остается?

— Действительно... — Улыбка ее сделалась на четверть ватта ярче — совсем, считай, неощутимо, но он подметил. — Смотри тогда, — добавила она с шутливым предостережением, — не перетрудишься. Сбереги себя для попозже.

Он наигранно вздохнул.

— Тут не беречься, тут терпеть надо.

— О! — согласилась она. — Как и мне.

Эти слова опять пробудили невыносимое, на грани физической муки, напряжение внизу живота. Он издал долгий, неслышимый миру вопль и, чтобы отвлечься, принялся усердно натирать ей мочалкой грудь и плечи. Это только ухудшило дело: и десяти секунд не оттикало — он полез целоваться. Как с цепи сорвался. Но она и тут не возражала.

Он сильно давил, едва не жевал ее губы. Были моменты, ему казалось: еще немного, и он вывернет себе к чертям собачьим челюсть. Падавшие сверху струи вновь были на его стороне — добавляли остроты. Когда в легких вдруг кончался воздух, он порывисто отстранялся от нее и, как скульптор, оценивающе вглядывался в то, что получается. Губы ее уже налились спелым вишневым цветом и вроде даже припухли, по крайней мере, нижняя точно. Узенькие ручейки, сбегая по лицу, будто нарочно заворачивали к уголкам губ, задерживались там на какое-то неуловимое мгновение и спускались дальше. Власть налюбовавшись, он жадно приныкал к ней опять. И так продолжалось бы, наверное, очень долго, если бы она вдруг не сказала, прикрыв его рот пальцами:

— Ну все, все. Мой или я сама помоюсь.

Он без слов отшагнул и принялся натирать ее мочалкой, неспешно и тщательно, как самого себя. Плечи, груди, живот, бока. Кожа ее, местами спрятанная под мыльной пенкой, неравномерно розовела и тут же на глазах высветлялась, становясь белее прежнего. Она следила за его движениями внимательно, с каким-то подозрительным интересом. Время от времени поднимала глаза, всматривалась в лицо. Ей определенно было по душе, что он ее моет, но почему он это делает, она, конечно, не понимала. Вернее, понимала, но не до конца. И хорошо, потому что он и сам не все понимал.

Пришел черед рук. Он поднял ей правую и, стараясь не вызвать щекотки, намылил подмышку: сверху вниз и снизу вверх, раз и еще раз. Удивительно, но она даже не шелохнулась — как смотрела, так и продолжала. «Ну-ну», — зачем-то запоминая, подумал он и потянул руку к себе так, что ее ладонь оказалась у него на плече. По этой

руке сейчас же забарабанили жесткие струи и, разбиваясь насмерть, забрызгали во все углы, даже до глаз добрались. Он мотнул носом, сощурился и стал мылить ей плечо и далее вниз, понемногу подбираясь к запястью, — тоненькому, хрупенькому, как и полагается.

Она все глядела, но уже не с интересом, а как-то испытующе. Это вынуждало относиться к делу более чем всерьез. Впрочем, по-другому у него вряд ли получилось бы. Слишком далеко все зашло, слишком поважнело. Потому и воспринималось теперь еще одной проверкой. В чем конкретно она заключается, эта проверка, он не знал и разбираться не торопился. Но что это именно она, родимая, внеочередная, долгожданная, четырежды клятая, сомнений не возникало.

Аккуратно снявши невесомую руку со своего плеча, он повернул ее кверху ладонью и принялся намыливать там. Он старался действовать плавно, но с нажимом — раз за разом проводил мочалкой сверху вниз, от белых бугорочков в основании ладони к тонким ухоженным пальцам, и когда мочалка завершала движение и соскальзывала, раздавался влажный такой прищелк, сопровождавшийся брызгами, а пальцы дергались. Это не могло устраивать. Он отложил мыло на полку и освободившейся рукой взялся за ее ладонь снизу, с тыльной стороны. Попробовал мылить так и сразу обнаружил, что вот оно — решение, ни тебе брызг, ни шелканья. «Очень хорошо, — подумал он тогда. — Прямо замечательно. Всегда бы так». Между делом он даже смог порассматривать линии, орнаментировавшие ее ладонь. Обозначавшая жизнь оказалась надломлена в самом начале, а та, что отвечала за судьбу, как и у всех в ее возрасте, едва-едва вырисовывалась. Какое-то время он бестолково глядел на этот призрачный чирк, сиюсь выдавить из себя что-нибудь глубокомысленное. Потом, так ничего и не придумав, выпустил руку и мягко попросил:

— Дай другую.

Она послушно подняла левую, показав подмышку. Он потянулся за мылом, насвежо натер мочалку, и все повторилось точь-в-точь как с правой рукой. Только живее и без неумелостей. Теперь, когда было надо, она сама клала руку ему на плечо и так же, не дожидаясь подсказки, снимала ее и показывала раскрытую ладонь.

Он старался больше не поднимать глаз. Сейчас ей лучше было не видеть их вовсе. Что-то в них появилось, проступило из самого нутра. Что-то сугубо его, личное, оголенное до полной беззащитности. И он не то чтобы боялся, что она разглядит это. Он не в шутку опасался, что, разглядевши, она не оценит увиденное по достоинству, сочтет какой-нибудь ерундовиной. А если копнуть еще глубже, до самого что ни на есть дна, то он был убежден в том, что ничегошеньки она не разглядит — и тем самым просто не хотел разочаровываться в ней. Вернее, в себе, в своем выборе относительно нее.

Закончивши мыть ей руки, он опустил на корточки и взялся за самое интересное. Мылить там нужно было осторожнее всего. Что он и проделывал, по-юношески бахвалясь перед самим собой: гляди, мол, чем ты занят, а ведь были времена, когда и сиськи не щупал, — мечтал только, исходя любовным соком. Впрочем, все это думалось не всерьез и мельком. А всерьез он лишь мылил, сосредоточенно выводя на нежной гладкой коже какую-то недоступную взору тайнопись, значения которой не понимал, но ясно ощущал за ней кошмарную головокружительную глубину, уходящую так далеко, в такую тьму микромира, что оторопь брала.

Он уже не мог остановиться, так поглотило его это занятие. Она, застыв, молчала и, наверное, просто смотрела на него сверху вниз. Шипела, надрываясь, лейка. Струи безостановочно лупили по шторке, по дну ванны, по кафельной стене, соприкоснувшись с кожей, собирались в мелкие ручейки и сбегали вниз, подхватывая по пути клочья пенки, а он все водил и водил туда-сюда мочалкой и ничего вокруг не замечал. Справа налево, плавный заворот и наискосок вверх к пупку. Затем строго вниз, но не до конца, на полпути чуть вбок и сразу же — в мягкий тесный просвет между бедерья.

Она вдруг подала голос:

— Ты же знаешь, там нельзя.

Он остановился, поднял глаза. Она пояснила:

— Там само очистится. У нас так устроено.

— Знаю, — отозвался он. — Я рядышком.

— И рядышком не надо. Мы там руками. Мочалкой царапнуть можешь.

Он моргнул.

— Хорошо, не буду. Ноги хотя бы можно?

— Ноги можно.

И он стал мылить ей ноги — одной рукой тер мочалкой, другой, якобы для удобства, придерживал сзади, хотя на самом деле просто пользовался случаем. Ему нравилось чувствовать подладонью податливую гладкую плоть со всеми ее выпуклостями и извивами. И вообще, если бы он вдруг этого не сделал, то потом бы сильно жалел. Что ни говори, а это его мужской долг. Как губы ее созданы для поцелуев, так ноги созданы для нежных прикосновений, поглаживаний и пощупываний. Впрочем, не только ноги. Грудь еще. И попка тоже. Кстати, где она там? Ага, на месте. Да какая мягкая, да какая призывная. Сама, считай, в руку просится.

— Алё! — сказала она со смешком. — Условились вроде потерпеть.

— Условились, да, — бормотнул он капризным тоном.

— И все равно продолжаешь?

— И все равно продолжаю.

Конечно, он притворялся. Она, скорее всего, понимала это прекрасно. Но вместе с тем ей было приятно обманываться, поэтому некоторое время она великодушно позволяла ему делать то, что он делал. Потом все же двинула бедром и сказала решительно:

— Ну нет. На диване. Здесь я совсем размякну.

Он поднял глаза.

— Думаешь?

— Уверена.

— Значит, диван?

— Умгу. Там нас ждет мно-о-ого обретений.

Он заинтересованно выгнул бровь.

— Откуда?

— Не скажу.

— Ну скажи.

— Не-а. Сам думай. А я — всё.

Она изящно крутнулась под струями, смывая остатки пены, сполоснула рукой там, где ему запретила, после чего показала глазами: дай, мол, пройти. Он встал и посторонился. Она осторожно, стараясь не задеть, протиснулась мимо в противоположный конец ванны и выскользнула за шторку. Он и пикнуть не успел. А когда опомнился, почувствовал себя натурально обобраным.

Оказывается, все это время, вдвоем с ней, в этом крохотном пространстве он был почти счастлив. А теперь все исчезло. Словно из груди что-то вынули. И пытаюсь хоть как-то, хоть на миг вернуться в то состояние почти счастья, он стал напряженно прислушиваться. Однако кругом шипело так акустично, что невозможно было разобрать, ушла она или все еще здесь, рядом. Похоже, ушла. Закуталась в полотенце — и прости-прощай.

Он расстроено поглядел под ноги. Вода, рябась и посверкивая, утягивалась в сливное отверстие. Вконец размокнувший лейкопластырь на мизинце держался на честном слове. Надо б сменить, вскользь подумал он. Затем выжал и бросил мочалку обратно на полку и принялся энергично, с каким-то даже ожесточением, натирать себя мылом. Заодно он пытался вспомнить, откуда она взяла это выражение. «Там нас

ждет много обретений». Что-то мучительно знакомое. Не нашенское точно. Западное. Английское, пожалуй... Грэм Грин? Пристли?.. Ч-черт!

Он так и не вспомнил, чьи это слова. Но пока гадал, пришел к мысли, что...

## 2

Ну все, хватит! — сказал я себе и убрал руки с нагретой клавиатуры. И так ясно, к какой мысли этот бедолага притопал. А если даже и нет — плевать. Не могу больше. Не могу, и все: выжат.

Голова тяжело гудела, шею ломило, изо рта разило, а прямо перед глазами, как дурное наваждение, мертво зависла беспорядочная россыпь букв. Какие-то из них висели ближе, какие-то дальше. Некоторые были черны как смоль, другие полупрозрачны, как вдовья вуаль. Кое-где они налезли друг на друга, перепутались и превратились в растрепанные черные кубла. Кое-где, наоборот, необъяснимо раздались в стороны, образовав места жалищей белой пустоты.

Белизны было много.

Где-то за буквами, в неуловимой дали, мерцал чистым полюсным светом широкий прямоугольник с размытыми границами, и так и шибал по глазам. Терпеть это мерцание не было никаких сил, но и деться от него не получалось. Сомкнешь веки — все равно светит. И буквы — четким таким силуэтом, как остаточное изображение. Собственно, это оно, наверное, и было. У кого-то от любования молниями выходит, а у меня, дурака, — от писанины. Во жизнь!

Я вдруг с изумлением понял, что при желании сумею сложить из этих чертовых букв слова, а из слов — предложения. И возможно, мне даже понравится результат, и я, как обычно, скажу себе с наигранным удивлением: ай да ты! Но сейчас я больше не мог. Тошнило меня от этого всего. Как поц, ей-богу! Нашел, на что тратить цветы своей селезенки.

Я накрепко закрыл лицо ладонями и некоторое время сидел так, с натугой дыша сквозь узенькие щели между пальцев. Белизна перед глазами понемногу тускнела, буквы стали терять четкость. Вскоре полегчало настолько, что я рискнул снова поглядеть на мир. Опустил руки, и первое, на чем сфокусировался, оказались две густые лужицы пота, тускло поблескивавшие на черном теле ноутбука. От ладоней остались. Трудовой пот, можно сказать. Смотреть на это дело было как-то тягостно, и я поспешил перевести взгляд на часы в правом нижнем углу дисплея. Лучше бы я этого не делал.

Пять семнадцать утра! Это что ж выходит? Раз, два, три... Почти шесть часов за работой. Без перекуров и чаевничаний. На голом энтузиазме. Ну и ну! Я скопился вправо и вынужден был нуинукнуть снова.

В окне вовсю светало. По-акварельному чистое небо молча обещало в точности повторить вчерашний день — знойный, душный, человеконенавистнический. Если так, то, может, мы с Иришкой и душ повторим? — мелькнуло в голове. Помилуемся всласть. После еще раз ее помою. Закреплю, тэк скэть, давешний опыт. Я лично обеими руками «за». И ногами тоже... Но это все ближе к обеду. А сейчас — давай-ка ты выключишь эту перегревшуюся бандуру, двинешь в комнату и поспишь хоть пару часиков. Устал ведь, как собака. Все затекло. И башка не меньше бандуры перегрелась. Вон — аж пульсирует.

В башке и впрямь пульсировало — слева, сразу за виском.

Скривившись, я поелозил на стуле. Вытянул ноги, шевельнул ступнями. Сделалось только хуже. Вернее, очевиднее. Да-а, — подумал я невесело. — Давненько так не засиживался. Со студенчества, считай, — покамест не дотумкал, насколько все же неблагоприятное это занятие — сидеть неподвижно часами и расставлять слова в определенном порядке. И сколько, интересно, накаталось?

Сошурившись, я посмотрел на счетчик и чуть не присвистнул. Три тысячи слов! Неслабо, брат сочинитель, далеко неслабо. А если совсем напрямки, то очень хорошо, на твердую четверочку. Ведь несмотря на то, что это чистой воды эротика и каждый второй абзац так и вопиет о редактуре, — получилась вещь. И глаз к строке липнет, и картинка в меру детальная. А главное, чувствуешь: основательно сбито. Прочно, как советский табурет, на котором и посидеть можно, и постоять, и поплясать, и орехи поколоть. И голову, если что, запросто им проломишь. А он как был табуретом, так табуретом и останется, еще внуки попользуются.

Вот какой текст я накатал. Несмотря на все «на».

Что же касается низкожанровости, так, по слухам, поглощение еды и коитус — наиболее сложные для описания темы. Ибо в первом случае читатель должен реально захотеть есть, а во втором — реально захотеть любиться. Даже не так. В первом случае он должен отложить чтение и побежать к холодильнику, во втором — позвонить партнеру или еще что в этом роде...

Получился у меня сей финт? Я крутнул колесиком вверх и пробежался придирчивыми глазами по самым острым местам. Гм, навряд ли. Но я хотя бы попробовал! — сказал я непонятно кому, точно оправдываясь. На высоту не вышел, да, но и в грязь лицом не ударил. Основательно, прочно — тоже уровень. И вообще, лучшее — враг хорошего...

Хотя кого ты пытаешься надуть? — спросил я себя, неожиданно разоткровенничавшись. Это зарисовка, за-ри-сов-ка. Никому такое не интересно — ни в отношении формы, ни в отношении содержания. Разве что будущим исследователям твоего творчества (Ха, забавный оборот!..) да ярым молодым поклонницам, которых у тебя нет и в ближайшее время, увы, не предвидится. И судьба у сего опуса одна — бесславно сгинуть в архиве: в выдвижном ящике под зеркалом — если у тебя хватит ума распечатать текст на бумаге, либо на флешке — если ума все же не хватит...

А если ты вдруг обнаглеешь настолько, чтобы отправить текст какому-нибудь знакомому редактору, появится в твоей жизни ряд таких вопросиков, которые тебе ну вот совсем ни к чему. И будет тебе не то чтобы неудобно. Будет тебе, брат сочинитель, стыдно. Ибо энтузиазм энтузиазмом, конечно, а многое из важного ты просто не учел. Ни силенок не хватило, ни запала.

Ну, например. Неясна природа их отношений. Что любовники — понятно. Но кто они друг другу вне интимных делишек? Муж с женой? Соседи? Однокашники, случайно сохранившие контакты? Откуда читателю понять, что он — то есть я — прикатил к ней аж из другого города? Как понять, что перед этим мы долго переписывались, а потом почти одновременно пришли к выводу: «так дальше нельзя»? И как это было замечательно — общаться полунамеками, подыскивать такие обороты, когда вроде бы и понятно, но все равно не в лоб, и это необходимо разгадать, как ребус, вычитать промежду строк. В зарисовку такое не всунешь, хоть тресни, и это ее большущий минус...

Или возраст. Ясно, что оба молоды, — не дети, разумеется, но далеко и не пожилые люди. А ведь это всё нюансы, и важные. Ему, к примеру, тридцать два, так же, как мне сейчас. Ей двадцать четыре, как и Иришке. И для меня чрезвычайно важна эта разница в восемь лет. А раз она важна мне, здесь, то должна быть важна и ему, там. Это же очевидно!..

Нет, нет, обязательно нужно вставить — и про возраст, и про то, как на него действуют мысли на сей счет. Пускай попоражается, погордится, почувствует непонятную ответственность перед ней. Всякое такое, вперемешку...

Я снова крутнул колесико, прикидывая, куда бы это втиснуть наиболее безболезненно. Ничего не нашел, даже цыкнул зубом с досады. Но это надо, сказал я себе, точно зарубку делал. Так же, как и про внешность...

Тут я окончательно пал духом.

Внешность... Ведь ни слова о том, какого цвета у нее волосы. Или какой они длины. Да что там волосы! Цвет ее глаз можешь назвать? Я покусал губу, вспоминая. Блин, а действительно! Вроде бы темно-карие. Хотя, может, и нет, не знаю. По крайней мере, точно не зеленоватые. Зеленоватые у меня, я б сразу заприметил схожесть. Вообще, если не помнишь, какого цвета у девушки глаза, значит, с высокой долей вероятности они у нее карие. Это аксиома. Но все равно некрасиво. Вчера же буквально смотрел прямо в них — не мог, что ли, запомнить?

И вот так у тебя везде, по всему тексту.

И про свой внешний вид почти ни словом не обмолвился. Добавил бы вон, что стрижешься под ноль по причине ранних залысин, — уже деталь, уже, считай, видно тебя. И, возможно, не пришлось бы тогда о возрасте распространяться. Одно исходит из другого, то в свою очередь тянет за собой третье. А у тебя? Эх!

Я решительно подвел указатель к значку сохранения, щелкнул по нему и двинул в противоположную сторону до значка «закрывать». Файл под названием «Документ1» схлопнулся.

— И чтоб больше я тебя не видел, — несерьезно сказал я ему вдогонку, после чего полез в раздел «Пуск», намереваясь выключить ноутбук.

Он долго светил на меня голубым, с узорчиками, фоном, завершая работу, и я как никто понимал его — сам все никак не мог остановить шевеление творческих шестеренок под черепушкой.

Тут дисплей наконец погас, и мир потихоньку стал наваливаться на меня грубой осязаемой предметностью. Кажется, я только сейчас в полной мере осознал происходящее.

Я сидел за маленьким столом на кухне — голый, потный и умаявшийся так, что чувствовал себя избитым. Никакие любовные утехы не смогли бы довести меня до такого состояния. То, что перед глазами больше не висели буквы, бесконечно радовало. И слабая улыбка то и дело трогала губы при мысли, что писать сегодня больше не придется. Думать — сколько угодно! Думать — это легко. Это даже увлекательно. Но писать — увольте! Ибо страшнее муки не изобрести. Фурункулы, наверное, выдавливают с большим удовольствием, нежели я выдавливаю из себя слова. Но оставить их там, в себе, невысказанными, не упорядоченными на бумаге, — еще хуже. Там, внутри, они начинают потихоньку подгнивать, отравляют кровь и со временем напоминают о себе, да так, что жить не хочется. Ходишь потом придавленный и думаешь: по всем фронтам продул, лентяй, бездарь, неудачник, а ведь когда-то подавал надежды. Тьфу!

За ноутбуком, на том конце столешницы, выстроились в шеренгу три бутылки из-под минералки. Что характерно — с высоким содержанием магния. Там же, сбившись в отдельную кучку, виднелись баночки со всевозможной гомеопатической дрянью.

Несмотря на общее, далеко не радужное состояние, я в который раз поразился Иришкиной наивности. В уме не укладывалось, как баба с высшим образованием, знающая два — или даже три?.. — языка, может всерьез относиться к гомеопатии и ни в грош не ставить традиционную медицину. Антибиотиков, видите ли, в ее организме ни разу не было. Так и тянет ляпнуть с красноречивой улыбочкой: «Не было? Ну-ну!» Хотя ничего смешного в этом нет. До сих пор о прививках боюсь ее спросить — вдруг там действительно до того запущено. А дети? Неужели она и детей своих неродившихся тоже откажется прививать? Опасная женщина, что сказать... Впрочем, скорее всего, как и у остальных сторонников этого дела, у нее избирательный подход. Надо же все-таки хотя бы раз в полгода к стоматологу навеститься. Или в женскую консультацию какую-нибудь.

Я в последний раз глянул на ноутбук. Лужицы пота около клавиш совсем испарились, остались лишь волглые отпечатки. Хорошо, что догадался его захватить,

подумалось мельком. Как в воду глядел. А то бы и не написал ничего. Или написал, но уже дома. Получилось бы, наверное, не так. Лучше-хуже — не знаю, но точно не так, не на одном дыхании. Ведь всю ночь мне это спать не давало, точило аж с самого полудня. Собственно, чему ты радуешься? — спросил я себя. — Ни от чего ведь не избавился. Так и точит, иначе бы давно дрых без задних ног.

И хорошо, что не отпускает, решил я, крепко подумавши. Значит, получилось нечто, что трогает душу. Значит, настоящее получилось. Вот бы его еще до ума довести, станет вообще конфеткой...

С этой обнадеживающей мыслью я выбрался из-за стола и, пошлепывая по ламинату, поплелся в комнату.

Не-ет, думалось между тем. Все-таки строг ты к себе. Все-таки не так уж плохо получилось. Вон — и раскавыченные цитаты ухитрился впихнуть. Органично? Еще бы!.. Правда, не уверен, что средний читатель хармсовскую оценит. Это для тебя она очевидная — сразу смешно делается, а вот для какого-нибудь Ивана Кузнецова из-под Кемерово окажется пустым звуком. Еще и разозлится, что вынуждаешь его гуглить. А ведь она, эта цитатка, такая — хрен погуглишь, по-старинке придется выискывать. В библиотеку бегать или там учительнице по литературе набирать. Народ у нас от такого отвык, если вообще привыкал. Очень может быть, что просто не приучен. Словом, не станет никто возиться. Лучше лишний раз в инсту заглянет, полайкает сэндвичи — или что там сейчас в моде? — и все на этом.

Значит, решено. Фаулза оставляю, он там слишком прочно засел, а Хармса — долой. Чтоб не мозолил глаза бедному Ивану Кузнецову из-под Кемерово.

Я завернул в комнату и остановился у разложенного дивана. Голая Иришка, подтянув ноги, спала на боку. К уголку рта у нее набежала слюнка, рядом на подушке темнел подсохнувший след. Скомканная простыня закрывала только живот и бедра. Остальное было как на ладони — белое, гладкое, завлекающее, хоть сейчас нырять.

Я полувсерьез подумал о таком повороте и квели усмехнулся. Во-первых, она вряд ли оценит подобного рода проявление страсти, во-вторых — не вытяну. Часа через три — можно еще попробовать, а сейчас — нет. К таким перегрузкам и космонавтов не готовят.

Я забрался на диван и со всей возможной осторожностью устроился позади Иришки. Она тут же, не просыпаясь, зашевелилась, заотыскивала меня теплой попкой. Я обнял ее свободной рукой и прижал к себе. Успокоенная, она замерла и вскоре тихо засопела. Кажется, даже не заметила моего отсутствия. И хорошо.

Но еще лучше, еще замечательнее то, что у меня все-таки получилось. Да. Мне удалось вдохнуть жизнь в этих двоих. Я смог. В очередной раз. Хоть они и лишены многого, а все равно — живые, дышащие, чувствующие. И они счастливы. Благодаря мне они будут вечно наслаждаться близостью друг друга, и никто не сможет им помешать. Никто не навредит им, не остановит, не объяснит на пальцах, что на самом деле они — всего лишь буквы, графические символы, выстроенные в определенной последовательности. Нет, они будут вечно предаваться любви, вечно сходить друг по другу с ума, вечно будут молоды, радостны, беззаботны. И заключил их в эту волшебную живицу я. Я — их смертный бог, о котором они никогда и не задумаются даже.

Которого играючи переживут.

Иришкина кожа пахла чем-то горьковатым, напоминающим вкус полыни. Волосы же, напротив, были сладки и душисты, и хотелось зарыться в них лицом, как в букет свежесорванных цветов. Что я и сделал; дышать стало не очень-то, но засыпать — в самый раз. И я принялся терпеливо дожидаться, когда сон утянет меня к себе. А мысли все лезли и лезли, и конца им видно не было.

Сколько же всего я не учел. А ведь мог, мог ведь! И жизнь их оказалась бы более полной. И они задумались бы тогда, что не бывает так замечательно, что, возможно,

кто-то над ними все-таки есть. Тот, кто следит за ними как за любимыми детьми, кто бережет их и радуется вместе с ними...

Надо, надо было добавить. Рассказал бы о нем, как о себе. Это же проще некуда, и выдумывать ничего не нужно. Передал бы свои страхи, сомнения, все то дерьмецо, из которого я и состою, — и их маленькое счастье заиграло бы новыми красками, наполнилось бы новыми смыслами. И этот бедолага еще трепетнее стал бы ценить то, что ему дано...

А она? Почему у нее так мало личной жизни? Ведь легко можно было упомянуть ученика, с которым намечался онлайн-урок. У Иришки он случился вчера ближе к вечеру, и она сидела, голенькая, перед ноутбуком с выключенной вебкой и битый час разжевывала туповатому мальчишке с басовитым голосом, где он наделал ошибок в сочинении...

Или количество родинок. У нее же их полно, считать замучаешься. Неужели тот, моющий ее в душе, не мог обратить на это внимание? Я вот обратил. И потрогал. Ту, с горошину, которая у нее под ключицей. И она даже что-то такое сказала по этому поводу. Что-то про декольте и неудачное расположение...

Вообще много чего можно добавить из так называемого «мясца». Ведь у нее и раздражение от эпиляции имеется. В том самом месте. К твоему приезду, между прочим, готовилась. А ты? «Нежная да гладкая», и ничего больше из тебя не выдавилось. А ведь это пошлейший штамп навроде «крепчающего мороза», и в жизни «нежная да гладкая» встречается крайне редко. Но ты об этом, конечно, ни-ни. А почему? Что, она уже и не человек, по-твоему? Не может поболеть кожей? Брат сочинитель, тоже мне... Себе-то лейкопластырь на мизинец не забыл наклеить. И что самое смешное — наврал. А зачем — поди разберись...

И про щекотки наврал, ни с того ни с сего вспомнил я. Знал ведь, еще до душа, что не боится она их совершенно. А это ведь деталь, и более сильная, чем у тебя. Уже потому более сильная, что прямым из жизни.

Как, например, та, про парк.

Я уже засыпал, поэтому позволил себе свободно думать об этом. Вернее, просто не смог остановиться: воля смякла.

Когда Иришке было шестнадцать, с ней случилась беда. Она возвращалась домой с вечерних занятий, и на полпути, в пустынном парке, ее нагнали двое. Кажется, это были ребята из параллельного класса. Впрочем, она до сих пор не уверена. Они схватили ее, обмотали голову куртками и стащили с тропинки. Там, в зарослях, их ждал еще один. Судя по голосу, какой-то взросляк-пэтэушник. Он приказал этим двум повалить ее и держать. Сам же устроился сверху и довольно быстро сделал все, что намеревался. После чего поднялся и, застегиваясь, сказал подельникам: «Принцип ясен? Дальше сами». Эти двое стали его упрашивать: останься, мол, помоги, — но он, не слушая, удалился. Тогда они перевернули ее на живот, сорвали с головы свои куртки и убежали.

Она рассказала мне это позавчера тихим, спокойным, страшным голосом. И какое-то время я просто молча плакал, а потом так же молча напился до невменяемости. Мне было безмерно стыдно, что я принадлежу к роду людскому. Когда же все более-менее улеглось, я пообещал себе не вспоминать об этом ни при каких обстоятельствах.

И вот вспомнил.

Н-не-е-ет, протянул я с натугой. Такое в рассказ не вставишь. Это как-то и не по-людски уже. Сильно, но — нет...

Собственно, о каком, к свиньям собачьим, рассказе тут речь? — возмущенно поинтересовался я, прекрасно понимая, что прикидываюсь, что всего лишь хочу свернуть куда-нибудь в сторону от того парка и той липкой гадости, которая приключилась с Иришкой. Когда это твоя жалкая зарисовочка, вопрошал я, рассказом

успела заделаться, у? Нетушки, давай-ка называть вещи своими именами и вообще довольствоваться малым. Дашь сегодня Иришке на прочитку — она поулыбается, чмокнет тебя в шнобель, вот и вся плата за труды. Большого не жди. Лучше вон — название тексту придумай. До сих пор ведь безымянный он у тебя.

И я принялся думать над названием, хотя был ближе ко сну, чем минутой ранее. Думалось тягостно, но все-таки думалось.

«Любовники»? М-м-м, слишком сально.

«За шторкой»? Без комментариев. Хотя-а-а-а... Если довести до ума, выйдет, пожалуй, стояще. Отложим.

Дальше, дальше! Противник уже дрогнул!

«Сказка о...» Н-ну пусть будет — «о наготe». «Сказка о наготe». А? Глубоко, согласен. Но из другой оперы, увы.

Так. Давай-ка от печки станцуем. Он ее моет, правильно? Правильно. Ей приятно? Приятно. И ему приятно. А кожа у нее нежная, гладкая, белая... Может, тогда — «Купание белой кобылицы»? По ассоциации с картиной... этого самого... Петрова-Водкина. Ха, да ты остряк, брат сочинитель! Но лучше кончай придуриваться. Не то все это, совсем не то. А надо, чтобы раз — и ни вправо, ни влево.

Может быть, «Душ»? — подумалось неуверенно.

Я покрутил этот вариант и так и сяк.

А что? Ёмко и сердито. И, кажется, в точку. Ведь душ — это центр, вокруг него все и вертится. Не будет душа, не будет и их. Зачем, спрашивается, им лезть в ванну, где из лейки не льет?

Значит, «Душ». По крайней мере, слово это оставляю. Может, позднее добавлю к нему какое-нибудь прилагательное — мелодичности для. А так — пускай. «Какой-то там душ». Неплохо. Не коротко и не длинно. Запоминается. «Читал "Какой-то там душ"?» — «Не-а». — «Ой, обязательно прочти! Это что-то!» — «Что, реально?» — «Ага!»

Я заулыбался сквозь дрему и вдруг вспомнил, как некоторое время назад обозвал себя смертным богом. Что ни говори, а это льстило. И то, что я как бы спал уже, позволяло мне быть легкомысленным и не осознавать этого.

Я стал представлять себя в этой роли — как я, стуча по клавиатуре, бескорыстно одариваю двух моих голубков прошлым и будущим, наполняя их мнимые жизни все большим и большим значением. А потом неожиданно подумал: а ведь, может статья, и меня в данный момент кто-то пишет, какой-нибудь над-автор, — стучит по клавише, а я тут изображаю из себя...

Я будто на стену налетел. Налетел — но не проснулся.

Интересная мысль, подумал я. Настолько интересная, что сразу возникает вопрос: сколько же тогда этот самый над-автор карябал зарисовочку про душ? Вряд ли у него получилось так же быстро, как у меня. Наверное, мучился с недельку, аппетит потерял, а мне велел сообщить, что, мол, за ночь все написалось. А что? Я б на его месте так и поступил — веса бы себе добавил. То бишь таланта...

Хороший мог бы получиться сюжет, подумал я.

Старый как мир, но — хороший, подумал я.

Главное, не забыть о нем по пробуждении, подумал я и наконец уснул.

Во сне вернулись буквы, зависшие в белой пустоте.